

ВЕЧНОСТЬ МАДЛЕН



МАРИ ЛЮБРОН

МАРИ ЛЮБРОН ВЕЧНОСТЬ МАДЛЕН

<https://litres.ru/74403383>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мадлен родилась в Нанси в начале XVII века.

Она росла в шумной семье суконщика, в тесном доме среди запаха хлеба, шерсти и дыма. Она любила, теряла, боялась и мечтала о простой человеческой жизни.

Но однажды Мадлен заметила, что время больше не властно над ней.

Проходили годы. Старели её родители, выросли братья и сёстры, седел любимый мужчина. Менялись города, исчезали дома, рушились целые эпохи.

А она оставалась прежней.

Чтобы выжить, Мадлен пришлось научиться исчезать. Менять имена, страны и судьбы. Никогда не задерживаться слишком долго. Никому не рассказывать правду. И главное — не позволять себе любить.

Четыреста лет спустя она снова живёт в Нанси, городе, который помнит таким, каким его больше не существует.

Она работает с историей и водит людей по улицам собственного прошлого.

Но однажды в её жизни появляется Поль — человек, который начинает изучать старые архивы и случайно оказывается слишком близко к тайне, которую Мадлен скрывала веками.

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	41

МАРИ ЛЮБРОН ВЕЧНОСТЬ МАДЛЕН

Глава 1

Запах дождя в Нанси всегда пах одинаково — мокрой известкой, прелой листвой и горьковатым дымом из сотен печных труб. Для кого-то это был просто ноябрьский вечер 21 века, а для Мадлен — еще один бесконечный поворот колеса.

Она стояла на площади Старого города, чуть приподняв зонт, чтобы лица туристов попадались в поле зрения целиком. Семеро промокших людей в ярких куртках жались под аркой ратуши, зябко кутаясь в шарфы.

— Сейчас трудно представить, — произнесла Мадлен ровным, чуть глуховатым голосом профессионального гида, — но в начале 17 века эта площадь выглядела совершенно иначе. Вместо привычного камня здесь была утоптанная конским топотом земля, а выделанная кожа и конский навоз.

Она обвела взглядом фасады зданий. На секунду её голос едва заметно дрогнул, а пальцы, сжимающие ручку зонта, сжались сильнее.

Мадлен замолчала.

Не потому, что забыла текст. Просто на одно мгновение

сквозь серый асфальт и неоновые вывески проступил другой город. Она отчетливо вспомнила, как пахло мокрое дерево тех балок, как скрипели ставни в доме напротив и каково это было — бежать здесь босой девочкой по утренней грязи, когда трава еще хрустела от первого заморозка.

Туристы послушно ждали продолжения. Никто из них не замечал странной, застывшей тени в ее глазах.

— Откуда вы знаете такие подробности про быт? — не выдержал мужчина в очках с тонкой оправой, стоявший ближе всех. — В путеводителях пишут только про герцогов и даты перепланировки. Архивы же почти не сохранили таких мелочей.

Мадлен улыбнулась — легко, привычно и абсолютно беззаботно.

— Хороший историк всегда должен уметь представлять прошлое, — ответила она с мягким оттенком иронии.

А про себя подумала: *если бы всё было так просто.*

— Экскурсия окончена, господа, — Мадлен чуть приподняла ладонь в знак прощания, пряча за этой дежурной мягкостью наплывшее изнутри оцепенение. — Спасибо за внимание. Если захотите углубиться в детали, статьи о застройке 17 и 19 веков можно найти на сайте городского архива.

Туристы зашуршали куртками, защёлкали зонты, возвращаясь в ритм 21 века. Пожилая пара поспешила к кофейне, две студентки свернули в сторону набережной Мёрт. Через пару минут площадь у ратуши опустела, оставшись во власти

мелкой осенней мороси.

Мужчина в очках никуда не ушёл.

Он остался стоять под аркой, убрав руки в карманы тёмного пальто, и неспешно наблюдал, как она убирает в блокнот ламинированную карту. На вид ему было около сорока — чуть старше тех тридцати пяти, на которые выглядела она сама, с тронутыми ранней сединой висками и внимательным, цепким взглядом человека, привыкшего всматриваться в детали.

— Вы сказали про запах выделанной кожи, — произнес он, когда она уже собиралась раскрыть свой зонт. Голос у него был низкий, спокойный, лишённый обычной туристической суеты. — В трактатах конца 17 века упоминаются дубильни на берегу Мёрт, но про специфику квартала у старой стены почти ничего не осталось. Даже в описях 1610 года этот сюжет обошли стороной. Откуда у вас эта деталь? Вы поднимали цеховые книги по текстилю?

Мадлен чуть прищурилась, изучая его. В его вопросе не было любопытства или желания блеснуть эрудицией. Это был профессиональный интерес.

— Скорее, личное ощущение пространства, — ответила она ровно, без тени смущения. — Если долго ходить по этим мостовым, начинаешь чувствовать, как дышал город до того, как его заасфальтировали.

— Интуиция историка? — он качнул головой, чуть заметно улыбнувшись уголками губ. — Редкость для обычных

обзорных экскурсий. Меня зовут Поль. Я работаю в департаменте реставрации при университете. Занимаюсь как раз описью фондов старого города. И признаюсь честно, слушать вас было интереснее, чем читать монографии.

Мадлен кивнула, вежливо, но дистанцированно. Внутри неё мгновенно, привычным за века движением захлопнулась тяжёлая внутренняя створка.

Поль.

Имя скользнуло по сознанию и тут же растворилось. Сколько их было за эти четыреста лет? Ученые, ремесленники, архитекторы, случайные попутчики — те, чьи глаза загорались от искры её знаний, те, кто пытался заглянуть за фасад её безупречной биографии. Она знала этот взгляд наизусть. Знала каждый его оттенок, каждый шаг, которым это любопытство неизбежно перерастает во что-то большее. А главное — она знала финал. Для него пройдут несколько десятков лет, он постареет, ослабнет, исчезнет в тишине больничной палаты или поднебесном холоде могильной плиты, а она останется ровно здесь же, на этой же улице, в том же возрасте.

Ввязываться в это снова было бы чистой жестокостью. Прежде всего — по отношению к нему.

— Рада это слышать, Поль, — её голос прозвучал чуть суше, чем требовалось для светской беседы. — Но боюсь, архивные фонды куда точнее любых ощущений. Хорошего вечера.

Она повернулась и быстрым, уверенным шагом направилась прочь по мокрой брусчатке, не оборачиваясь.

Дверь старого дома на тихой улочке за собором отворилась с глухим, привычным скрипом.

Мадлен вошла в прихожую, стряхнула капли с зонта и медленно сняла тяжёлое шерстяное пальто. В квартире пахло старой бумагой, остывшим чаем и воском для мебели — тем же запахом, к которому она привыкла за последние десятилетия. Тишина здесь была плотной, осязаемой.

Она прошла вглубь комнаты, не включая яркого света, и остановилась у низкого антикварного комода тёмного дерева.

Рядом с ним, на самом дне выдвижного ящика, лежала небольшая шкатулка из карельской берёзы с потёртой латунной застёжкой. Мадлен помедлила секунду, откинула крышку и опустила пальцы внутрь. На самом дне, под ворохом пожелтевших квитанций и современных записок, лежал единственный предмет — тяжёлая костяная пуговица с ручной резьбой, слегка потемневшая от времени.

Она провела подушечкой пальца по гладкому, полированному веками краю.

Эту пуговицу мать пришила к её первому детскому чепчику, когда Мадлен появилась на свет — в тишине прохладного октября 1604 года, когда над крышами Нанси вспыхнула новая звезда.

Мадлен тогда ещё не знала, что переживёт не только мать,

отца и всех своих десятерых братьев и сестёр, но и сам этот мир, заново пересобранный из пепла войн и столетий.

Она закрыла крышку шкатулки, и в тишине квартиры глухо стукнула латунная застёжка.

Она зажгла настольную лампу с тканевым абажуром, заварила чай и села за кухонный стол, перед которым лежали стопки современных распечаток и старых ксерокопий. В тишине квартиры громко тикали настенные часы.

Мадлен сделала глоток. Чай был слишком горячим, обжигал язык, но это возвращало в реальность.

Мысли упорно возвращались к арке ратуши. Она корила себя за резкость. Это была глупая, ненужная оплошность. Столетиями её главным правилом оставалось одно: абсолютная незаметность. Быть идеальным фоном, призраком в толпе, меняющим фамилии, документы и города, но всегда остающимся вежливой, чуть отстраненной женщиной без прошлого. А сегодня она сорвалась. Позволила себе чуть больше нужного в разговоре с увлеченным чужаком, а потом просто сбежала, как испуганная девчонка.

Она подошла к узкому окну, прислонившись лбом к прохладному стеклу.

За окном спал современный Нанси. Внизу, по мокрому асфальту, изредка шуршали шины редких машин, а фонари вычерчивали из темноты ровные ряды неоновых вывесок и стеклянных витрин. Этот город давно потерял запах навоза, сыромятной кожи и дыма. Он стал удобным, чистым, циф-

ровым.

Мадлен тихо вздохнула. Она давно уже никого не подпускала близко. Слишком больно каждый раз смотреть, как увядают те, кого ты любишь, пока ты сама остаешься в той же точке. Лимиты доверия были исчерпаны много жизней назад.

На столе коротко и сухо звякнул телефон.

Мадлен вздрогнула, словно её поймали на месте преступления, и обернулась. На черном экране всплыло уведомление из рабочей почты.

Незнакомый адрес. Тема: *«Вопрос по архивам Нанси / университетский департамент реставрации»*.

Она помедлила пару секунд, затем взяла телефон и разблокировала экран.

«Добрый вечер, Мадлен. Простите за неожиданное сообщение, надеюсь, я не нарушаю покой. Я всё думаю о нашем разговоре у ратуши. В фонде муниципальной библиотеки есть одна опись начала 17 века, которую никак не удастся расшифровать из-за специфического диалекта и сокращений. Возможно, вы могли бы уделить мне полчаса и помочь с одним архивным вопросом? Поль»

Мадлен замерла, глядя на ровные строчки текста.

Проигнорировать? Это было бы проще всего. Сослаться на занятость, заблокировать адрес, забыть. Но в груди неприятно и остро кольнуло профессиональное любопытство. Начало 17 века. Ее век. Время, которое она помнила лучше,

чем собственное отражение в зеркале.

Ответить — значило приоткрыть дверь, которую она заколачивала столетиями.

Она пальцем коснулась экрана, набирая короткий ответ:
«Добрый вечер, Поль. Зависит от того, что за документ. Пришлите скан, посмотрю, что можно сделать».

Прошло не больше десяти минут, когда телефон снова коротко завибрировал. Во вложении к новому письму от Поля прикреплялся файл — скан пожелтевшего от времени листа бумаги с плотным, выцветшим от столетий рукописным текстом.

Мадлен увеличила изображение на экране планшета.

Это был фрагмент налоговой или имущественной описи по приходу церкви Сен-Эпвр, датированный ноябрем 1604 года. Почерк был типичным для канцелярии Лотарингии того периода — размашистая, угловатая скоропись писца, спешащего закончить отсчет до наступления темноты.

Она пробежала глазами по строчкам. Писцы часто сокращали слова, использовали местный диалект и старые нотаριαльные формулы, из-за чего текст выглядел как ребус. Но для Мадлен эти завитки и буквы были слишком знакомы — она сама училась выводить их на грифельных досках в детстве.

Прошло не больше десяти минут, когда телефон снова коротко завибрировал. Во вложении к новому письму от Поля прикреплялся файл — скан пожелтевшего от времени листа

бумаги из приходского реестра церкви Сен-Эвр за осень 1604 года.

Мадлен увеличила изображение на экране планшета.

Почерк писца был плотным и аккуратным, но старые чернила местами расплылись, превратившись в блеклые пятна. Поль прислал страницу из реестра пожертвований и приходских сборов — сухие строчки имён, дат и сумм, которые университетские реставраторы сейчас оцифровывали для базы данных по истории квартала.

Она пробегла глазами по строчкам, машинально расшифровывая сокращения. Первые несколько фамилий ничего в ней не отозвались. Затем взгляд зацепился за строчку в нижней части листа.

Клод Жако торговец, купец.

Палец Мадлен застыл над экраном.

Она перечитала имя ещё раз.

Четыреста с лишним лет назад её отец подписывал документы совсем другим почерком. Он всегда сердился, когда приходилось платить церковные сборы, и ворчал за ужином, что святые отцы обирают честных торговцев быстрее, чем Господь посылает овечью шерсть на сукно.

Но этот документ... Она знала, почему Клод Жако оказался в той графе именно в те ноябрьские дни 1604 года. Мать тогда висела на волосок от смерти после тяжелейших родов, и перепуганный отец побежал в приход, давая обет отдать последние гроши, лишь бы жена и восьмой ребенок выжили

под этой проклятой новой звездой.

Память ударила под дых с оглушающей силой, стирая из головы свет экрана и стены современной квартиры.

Нанси. Октябрь 1604 года.

Воздух в нижней комнате дома Жако казался густым, пропитанным запахом прелого сена, дешевого оливкового масла и сырой шерсти, которая рулонами лежала у дальней стены.

Клод Жако мерил шагами половицы от тяжелого дубового стола до низкой двери, ведущей на лестницу. Его тяжелые сапоги глухо стучали по доскам. Сверху, из жилой комнаты под самой крышей, до глухих стен доносился сдавленный, прерывистый стон.

Катрин рожала уже больше суток.

Для Клода это были восьмые роды, но страх от этого не становился привычнее — он лишь горше царапал изнутри. У печи, сбившись в тесный кружок, сидели младшие дети. Семилетний Никола тихо всхлипывал, уткнувшись лицом в фартук старшей сестры Жанны, а остальные молча следили за отцом, улавливая каждый шорох наверху.

Внезапно скрипнули ступени.

На площадке показалась повитуха матушка Марго. Ее рукава были засучены до локтей, лицо блестело от пота, а на переднике темнели свежие, пугающие бурые пятна. Клод мгновенно оказался у лестницы, перегородив ей дорогу. Лицо его побелело, а губы беззвучно шевельнулись.

— Жива? — выдохнул он хрипло, ухватившись за перила

так, что затрещало дерево.

Марго тяжело перевела дух, вытирая лоб тыльной стороной ладони, и устало кивнула:

— Жива, Клод. Девочка родилась.

Она посторонилась, открывая проход, и Клод бросился наверх, оставляя детей внизу.

В комнате пахло терпким травяным отваром и кровью. На широкой постели, занавешенной выцветшим ситцем, лежала Катрин. Она была блее подушки, на которой покоилась её голова; мокрые темные пряди прилипли к вискам, а дыхание было едва заметным, поверхностным, словно она пыталась удержать ускользающую нить.

Рядом, в плетеной колыбели, завернутая в грубое, но чистое полотно, тихо пищала новорожденная.

Клод на секунду задержался у кровати, опускаясь на колени и касаясь холодных, безвольных пальцев жены. Катрин едва заметно шевельнула веками, но открыть глаза сил у неё уже не осталось.

— Клод... — прошелестел её голос, похожий на шелест сухих листьев.

— Я здесь, Катрин, я здесь, милая, — он прижал ее ладонь к своему лицу, чувствуя, как внутри обрывается какая-то тугая струна.

В этот момент из колыбели раздался тонкий, пронзительный детский крик. Маленькая Мадлен зашлась, заявляя свои права на этот мир.

Но в тишине прохладной комнаты Клод уже чувствовал холодное дыхание приближающейся беды. Ребенок выжил, но Катрин угасала на глазах, тая с каждой минутой. Пройдет еще несколько недель тяжелой тревоги, ноябрьских заморозков и ночных молитв перед распятием, прежде чем он сорвется с места, побежит к церкви Сен-Эпвр и дрожащей рукой опустит последние сбережения в церковную кружку, вымаливая у Бога жизнь для своей жены.

А пока над крышами Нанси безмолвно разгоралась та самая звезда, освещающая холодным оранжевым светом окно маленькой комнаты, где только что началась совсем другая история.

Несколько лет спустя.

Город жил своей тяжелой, неторопливой жизнью, зажатый между мощными бастионами старой крепостной стены и грязницей узких улочек. В начале 17века Нанси пах дымом сырого бука, квашеной капустой, навозом из придомовых загонов и тяжелым ремесленным сукном.

Мадлен было около шести.

Для большой семьи Жако она была просто восьмым ртом, вечно путающимся под ногами у старших. В тесноте низкого дома на улице близ прихода Сен-Эпвр жизнь никогда не затихала. Здесь всегда кто-то плакал, кашлял, пересчитывал медные монеты или чинил прохудившуюся обувь.

В то утро старший брат Жан, уже помогавший отцу в лавке, тащил к двери тяжелый рулон грубого серого сукна,

а сестра Жанна привязывала передник плачущему Николя. Мадлен сидела на пороге, поджав босые ноги под подол потрепанного платья, и отрешенно смотрела на лужу посреди двора, в которой отражалось холодное осеннее небо.

Мимо по мокрой брусчатке прошел королевский аркебузир в кожаном камзоле — стража герцога Генриха II торопилась к бастионам у ворот де ла Крафф. За ним семенил нищий монах, на ходу подтягивая веревочный пояс.

Обычный день обычного века.

Никто из проходящих мимо горожан не мог бы и представить, что эта худая молчаливая девчушка с расцарапанными коленками запомнит каждый камень этой мостовой, каждый шорох этого утра и каждый из последующих четырех сотен лет, которые сотрут в пыль и эти стены, и этот мир, оставив её одну.

— Мадлен! Ты опять сидишь в грязи? — окрик Катрин прозвучал резко, перекрывая звон медной посуды в комнате. — А ну марш в дом! Опять платье извадюкала, отец и так сегодня ругался на закупку ниток, лишнего на новые отрезы у нас нет.

Мадлен вздрогнула, выныривая из своих мыслей, быстро подтянула босые ноги и вскочила с порога.

Дверь мастерской скрипнула, и оттуда тут же выглянул старший брат Жан. На его плече лежал тяжелый кусок шерсти, пахнувший овечьим жиром и сыростью. Задев плечом притолоку, он недовольно цыкнул языком, глядя на девчон-

ку:

— Мадлен, не путайся под ногами, иди лучше к отцу в лавку, помоги ему посчитать пуговицы, пока он не перепутал медные с оловянными. И не смей лезть в сундуки с образцами!

В тесном доме семьи Жако царил вечный, привычный хаос. Пока Катрин у печи месила тесто для завтрашнего хлеба, а младший Клод-младший ревел в плетеной колыбели, Мадлен шмыгнула носом и побежала в переднюю лавку, где пахло сухим тлением старых материй и свежими чернилами.

Отец, Клод Жако, сидел за низким деревянным столом у самого окна, при свете тусклого октябрьского дня разбирая кипы накладных. На его лбу залегли глубокие складки — торговля в этом году шла тяжело, налоги герцогу росли, а покупатели всё чаще торговались из-за каждого су.

— Пришла? — не поднимая головы, проворчал отец, но в голосе не было злости. — Возьми вон ту шкатулку с деревянными пуговицами. Пересчитай дюжины. Да смотри не рассыпь, на полу темно, потом до ночи собирать будем.

Мадлен забралась на высокий тяжелый табурет, упершись подбородком в край стола, и принялась перебирать гладкие, пахнущие точеным деревом кругляши.

Она ещё не знала, что такое время. Для неё существовал только этот дом, пропахший сукном и щами, громкие голоса братьев, теплый запах материнского фартука и тяжелая рука отца, треплющая её по волосам. Она была лишь одной из

многих в этом шумном, тесном гнезде под крышей старого Нанси.

К вечеру комната наполнилась густым, тяжелым духом еды, овечьей шерсти и детского гомона.

Одиннадцать детей — от старшего Жана, уже примерявшего на себя отцовскую солидность, до крошечного Клода-младшего, уцепившегося за подол материнской юбки — заполнили каждый дюйм лавки и жилой половины. За длинным деревянным столом яблоку негде было упасть.

Катрин, бледная, с осунувшимся от бесконечных забот, то и дело сновала от печи к столу, разнося глиняные миски с густой похлёбкой и крупно нарезанный серый хлеб. Клод сидел во главе стола, устало потирая лоб, но время от времени отбивал ложкой суматошные попытки младших ухватить кусок повкуснее.

— Никола, перестань тащить локтем чужой кусок! — шикнула Жанна на брата, тут же получая в ответ обиженный всхлип.

— Мам, а Мадлен опять не съела корку! — тут же наступал Пьер, тыкая пальцем в соседнюю тарелку.

— Ешь давай, Мадлен, расти надо, не до жиру нынче, — бросила Катрин на ходу, опуская перед дочкой очередную ложку.

Мадлен сидела между Маргерит и тихим Огюстеном, сжавшись в комок на лавке. Шум стоял невообразимый: звенели ложки, кто-то спорил о пролитом квасе, кто-то плакал,

кто-то смеялся. Воздух в комнате был горячим и тесным от дыхания дюжины тел.

Она механически водила ложкою по дну миски, глядя на этот бурлящий, шумный мир.

Для её шести лет это было абсолютной, незыблемой вселенной. Ей казалось, что этот стол никогда не опустеет, что брат Жан всегда будет рядом, что отец будет вечно сидеть на своём месте, ворча на налоги, а мать — бесконечно месить тесто у раскаленной печи.

Мадлен перевела взгляд с одного лица на другое. На смеющегося Никола, на уставшего отца, на хлопочущую Катрин.

Она ещё не знала, что такое время. Она не понимала, что эта теснота, этот шум и этот суп — самое дорогое, что у неё будет, и что настанет день, когда от всего этого огромного, кричащего стола останется лишь тишина, пожелтевшие страницы приходских книг и она сама, сидящая на пустых камнях Нанси.

— Ну чего застыла? — Жан усмехнулся, бесцеремонно стянув у неё из миски кусок моркови. — Ешь, пока Пьер не утащил!

Мадлен шмыгнула носом, улыбнулась в ответ и зачерпнула похлёбку. В этот вечер за столом семьи Жако всё было как всегда.

Весна 1617 года выдалась ранней.

Ледяная корка на лужах растаяла еще до конца марта, и по узким улочкам Нанси побежали быстрые, грязные ручьи,

унося с собой прошлогоднюю листву и мусор.

Мадлен исполнилось тринадцать.

За прошедшие годы в доме Жако мало что изменилось, разве что за длинным столом стало еще теснее. Младшие подросли, Жан уже всю помогал отцу в лавке, перетаскивая тяжелые рулоны, а Мадлен превратилась в угловатого, быстрого на ногу подростка. Её руки и ноги были вечно покрыты синяками и царапинами — она лазала по заборам вместе с мальчишками, таскала воду и помогала матери набивать тюфяки шерстью.

В тот день солнце заливало узкий двор за церковью Сен-Эпвр, подсушивая вывешенное на веревках сукно. Мадлен взгромоздилась на шаткую деревянную бочку у стены, пытаясь достать застрявший на крыше сарая деревянный челнок младшего брата.

— Мадлен, упадешь ведь! — крикнул снизу Никола, задрал голову. — Отец ремня даст!

— Не упаду, — отмахнулась она, вытягивая руку изо всех сил.

Кончики пальцев уже коснулись гладкого дерева, но в этот момент доски под ногами неожиданно качнулись. Бочка хрустнула, обод соскочил, и Мадлен рухнула вниз, прямо на груды строительного мусора и острых камней, устилавших угол двора.

Раздался глухой стук, за которым последовал резкий, сдавленный вскрик.

Никола испуганно завизжал и бросился к дому:

— Мама! Мадлен упала!

Катрин выбежала на крыльцо первой, вытирая руки о фартук, за ней выскочил Клод. Мадлен лежала на камнях неподвижно. Ее левая рука была вывернута под странным углом, а из глубокой, рваной раны на предплечье толчками сочилась темная кровь.

Клод упал на колени рядом с дочерью, его лицо мгновенно посерело. Он осторожно приподнял её голову, чувствуя, как холодный пот выступает на лбу.

— Мадлен... Мадлен, ты слышишь меня? — его голос срывался на хрип.

Девочка открыла глаза, поморщившись от резкой боли, пронзившей всё тело. В первые минуты мир перед ней кружился серыми кругами.

Ее унесли в дом, уложили на узкую кровать под окном. Катрин принесла таз с холодной водой, чистые тряпицы и зажгла восковую свечу. Руку жгло каленым железом, каждый вздох отдавался тупой болью в ребрах. Мать, всхлипывая и шепча молитвы Богородице, туго стянула запястье и предплечье льняными бинтами, смазав рану целебной мазью из трав, которую покупала у аптекаря за углом.

— Ничего, кости целы, слава Богу, — вытирая слезы, проговорила Катрин, глядя дочку по растрепанным волосам. — Заживет до свадьбы. Будешь знать, как по крышам лазить.

Боль утихла удивительно быстро — уже на вторые сут-

ки Мадлен перестала морщиться при каждом движении. На четвертое утро она сама размотала тугие повязки, чтобы посмотреть, что осталось от страшного падения.

Мадлен замерла, глядя на свое левое предплечье.

Там, где еще позавчера зияла багровая, рваная рана от острого камня, осталась лишь тонкая, розовая полоска едва заметной царапины. Кожа была гладкой, чистой, без единого следа сукровицы или шрама. Даже синяки на локте сошли без следа, словно их никогда и не было.

Она медленно провела пальцами по чистой коже.

Мадлен подняла глаза на маленькое зеркало, висевшее на стене у рукомойника. Из него на нее смотрело всё то же хулижистое лицо тринадцатилетней девчонки.

Внутри неё впервые шевельнулось странное, липкое и совершенно недетское чувство.

Это не было похоже на чудо, о котором говорили в церкви по воскресеньям. Это было что-то другое — холодное и тихое понимание того, что её тело подчиняется каким-то совсем иным законам, отличным от законов всех тех людей, среди которых она жила.

Но тогда Мадлен еще не испугалась. Она просто спрятала руку в рукав платья, ничего не сказала матери и выбежала во двор, где весеннее солнце уже заливало мокрые камни старого Нанси.

Год за годом тяжелые деревянные телеги разбивали брусчатку у ворот де ла Крафф, а старый Нанси неуловимо, ис-

подволя менялся, обрстая новыми каменными пристройками и теряя тех, кто казался неизменной частью этого мира.

К 1624 году за длинным столом в доме Жако стало заметно тише.

Старший Жан давно уже женился на дочери соседа-кожевника и вместе с ней перебрался на соседнюю улицу, открыв собственную лавку сукна. Жанна уехала в Туль, выйдя замуж за местного ремесленника. Дом опустел на два голоса, зато в углах то и дело раздавался звонкий плач первых племянников — маленькие свертки с младенцами теперь регулярно появлялись в колыбели, которую Катрин, укачивала с тем же терпеливым вздохом.

Мадлен исполнилось двадцать.

Она превратилась в высокую, стройную девушку с густыми темными волосами и внимательным, чуть насмешливым взглядом. От детской угловатости не осталось и следа: она уверенно управлялась с грубыми рулонами ткани, помогала отцу вести учет в амбарных книгах и читала на латыни едва ли не лучше приходских священников, за что Клод неизменно ворчал, называя её «своей главной умницей».

Та зима выдалась лютой. Порывистый ледяной ветер со стороны Вогезов пронизывал старые стены насквозь, принесся в город затяжную болотную лихорадку.

Она валила людей с ног за пару дней. Сначала слёг младший Огюстен, потом зашлась глухим кашлем Маргерит, а вскоре и сама Катрин слегла с горячкой, бредя в лихорадоч-

ном жару. Дом Жако превратился в подобие лазарета: пахло кислым уксусом, тлеющими травами и жжёным можжевельником.

Мадлен металась между больными без сна и отдыха. Она меняла повязки, отпаивала братьев горькими отварами, таскала тяжелые ведра с водой и вытирала пот со лба матери.

На пятый день болезнь дотянулась и до неё.

Сначала в костях заломило так, будто их дробили молотом, а перед глазами поплыли багровые круги. Мадлен рухнула на узкую лавку у печи, чувствуя, как огонь внутри неё сжигает последние силы. Клод, сам еле державшийся на ногах от усталости, испуганно прижал ладонь к её горячему лбу.

— Только не ты, — прошептал он сухими, потрескавшимися губами. — Только не ты, девочка моя...

Мадлен пролежала в бесспамятстве трое суток. Брат Никола позже рассказывал, что она бредила на каком-то странном, чужом языке и горела так сильно, что к её плечу было страшно прикоснуться. Все были уверены: на этот крепкий организм лихорадка не пощадит, и старый Клод уже закупал черные свечи в приходе Сен-Эвр.

Но на четвёртые сутки жар внезапно спал так же резко, как и начался.

Мадлен открыла глаза в сером утреннем полумраке. В груди больше не рвало огнем, дыхание было ровным, а в теле ощущалась странная, звенящая легкость, какой не бывает у

людей, только что выкарабкавшихся из смертельной болезни.

Она встала с постели раньше всех, тихо ступая босыми ногами по холодным доскам. Братья и мать всё еще тяжело и хрипло сопели на своих тюфяках. Мадлен подошла к мутному оконному стеклу, вглядываясь в заиндевелый двор.

Лихорадка словно обожгла её изнутри, но не оставила разрушений. Пока её семья еще неделями приходила в себя, бледная и шатающаяся от слабости, Мадлен уже через день вернулась к тяжелым мешкам с зерном и отцовским бухгалтерским книгам.

Ни Клод, ни Катрин не увидели в этом ничего дурного. «В венецианской закваске сила, не то что у нас, хлипких», — только отмахнулся отец, радуясь выздоровлению дочери.

Время текло своим чередом, забирая силы у одних и возвращая их другим, но Мадлен впервые задумалась: почему всякий раз, когда её тело должно было сломаться, оно словно отказывалось подчиняться обычным человеческим законам?

А Мадлен, глядя в зеркало на своё бледное, но абсолютно здоровое лицо, впервые остро почувствовала: лихорадка проверяла её на прочность и отступила, признав чужой. Время текло мимо её братьев, оставляя на них тени болезней и забот, но её собственное отражение упорно отказывалось меняться.

К 1633 году узкие улицы Нанси казались Мадлен одно-

временно такими же, как прежде, и совершенно чужими.

Ей исполнилось двадцать девять.

Время в семье Жако отмерялось не годами, а новыми колыбелями и глубокими морщинами на лицах родителей. Отец, Клод, поседел добела, спина его ссутулилась, и лавку всё чаще приходилось вести старшему Жану. Катрин почти не отходила от печи, уступая тяжелую домашнюю работу подросшим дочерям и старшим снохам. Дом перестал быть тесным гнездом: старшие братья разъехались по другим приходам, племянники бегали по двору гурьбой, а за большим столом всё чаще поминали тех, кого унесла очередная осенняя хворь.

Мадлен оставалась опорой лавки и семьи. Она прекрасно разбиралась в сортах сукна, вела сложные расчеты с поставщиками из Страсбурга и уверенно держала в руках дела отца.

Именно тогда в её жизни появился Пьер.

Он не был ученым или заезжим вельможей. Пьер приехал из Лиона по торговым делам гильдии суконщиков — крепкий, с умными карими глазами и мягкой улыбкой человек, который умел слушать так, будто кроме голоса Мадлен в этой комнате не существовало никого.

Сначала они просто обсуждали цены на шерсть и качество красителей. Потом — гуляли по вечерним набережным Мёрт, когда солнце заливало старые крыши Нанси багровым светом. Пьеру нравилось её острый ум и то удивительное

спокойствие, с которым она смотрела на суету этого мира.

— Ты совсем не меняешься, Мадлен, — как-то вечером сказал он, легко касаясь пряди её темных волос, когда они сидели на лавочке у городской стены. — Прошло пять лет с тех пор, как я впервые приехал в Нанси. Другие девчонки успели дважды выйти замуж и обзавестись морщинами от забот, а ты... Ты выглядишь точно так же, как в день нашей первой встречи. Словно время обходит тебя стороной.

Мадлен тогда лишь рассмеялась, отшутившись задорной фразой о хорошем сне и холодной родниковой воде.

Ей и в голову не приходило искать в его словах злобещий смысл. В двадцать девять лет женщина расцветает, чувствует себя полной сил, а лёгкая зависть подруг к её гладкой коже казалась лишь приятной мелочью. Она с удовольствием принимала его ухаживания, позволяла дарить себе ленты и ловила себя на мысли, что, возможно, её жизнь сложится как у всех: дом, муж, тихая старость в окружении внуков.

Она ещё не знала, что Пьер был прав гораздо больше, чем мог вообразить.

До того момента, когда зеркало перестанет лгать, оставалось всего несколько лет. А пока шёл 1633 год, и Мадлен Жакко была просто молодой, красивой женщиной, которая впервые в жизни позволила себе влюбиться, искренне веря, что впереди у них целая вечность.

...Но к концу 1640-х годов в их тихий дом незаметно прокралось то, чему Мадлен поначалу отказывалась верить.

Всё началось с мелочей.

Однажды вечером, при свете сальной свечи, Мадлен заметила у глаз Пьера глубокую сеточку лучевых морщин, которых раньше не было. В свои пятьдесят с небольшим Пьер выглядел уставшим, измотанным тяжелой работой и сыростью Лотарингии мужем: волосы на висках поседели окончательно, спина ссутулилась, а по утрам он всё дольше сидел на краю кровати, разминая ноющие суставы сукнодела.

А сама она... сама она словно остановилась на какой-то невидимой черте.

В зеркале отражалась женщина, которой на вид можно было дать не больше тридцати пяти. В последние годы её лицо перестало меняться вообще. Ни новая усталость, ни заботы, ни годы не оставляли следов на её коже — время словно замерло, едва коснувшись её, оставив Мадлен в той точке зрелой, неизменной красоты, за которой не следовало увядание.

Сначала Мадлен списывала это на удачную наследственность матери. Но в один из осенних вечеров 1652 года, когда они сидели у камина, Пьер поднял на неё глаза — полные тихой, неизбежной усталости человека, чей век катится к закату — и вдруг горько усмехнулся, касаясь её гладкой щеки своей шершавой, испещренной возрастными пятнами ладонью.

— Знаешь, Мадлен... — его голос прозвучал тихо и надломленно. — Иногда мне кажется, что ты заключила сделку с дьяволом. Я старею с каждым днем, а ты... ты замерла.

Скажи мне правду... кто ты?

В комнате повисла тяжелая, звенящая тишина.

Мадлен отпрянула от его руки, чувствуя, как ледяной ужас впервые остро царапает изнутри. В этот момент она поняла: отпрянуть от Пьера и убежать от ответа было уже невозможно. Проклятие её жизни, о котором она не подозревала, наконец захлопнуло свою ловушку.

В комнате трещал фитиль свечи, оплывая воском на грубый деревянный стол. Свет метался по стенам, выхватывая из темноты тени, но между ними двумя словно выросла непреодолимая ледяная стена.

Пьер не отнимал руку. Его пальцы, уже тронутые старческой сухостью, всё ещё помнили тепло её кожи, но во взгляде читалась нетерпимая, сжигающая изнутри мука. Человек, проживший честную, понятную жизнь, столкнулся с тем, чему не было места ни в церковных книгах, ни в законах природы.

Мадлен сидела неподвижно. Внутри неё обрывались все привычные опоры.

Она вспомнила падение с крыши в тринадцать лет, когда рваная рана затянулась за ночь. Вспомнила страшную лихорадку, унесшую соседей, к которой её тело осталось равнодушным. Вспомнила зеркало, в котором она последние годы видела всё ту же женщину тридцати пяти лет, в то время как её муж превращался в старика.

Раньше она отмахивалась от этих мыслей, прятала их на

самом дне памяти, убаюкивая себя иллюзией обычной жизни. Теперь прятаться было некуда.

Она медленно подняла глаза на Пьера. В её взгляде не было страха или гнева — только глухая, бездонная растерянность.

— Пьер... — её голос прозвучал тихо, едва слышно над шорохом пламени. — Я не знаю.

Он ждал продолжения — оправдания, шутки, безумной выдумки, чего угодно, что можно было бы взвесить и понять рассудком. Но секунды шли, а тишина становилась всё тяжелее.

— Что значит «не знаешь»? — губы Пьера дрогнули. Он горько и коротко усмехнулся, но в этой усмешке не было радости. — Так не бывает, Мадлен. Люди рождаются, взрослеют, стареют и умирают. Это единственный путь, отпущенный нам Богом. А ты... посмотри на мои руки. Посмотри на свои. Я же чувствую, как время течет сквозь меня, оставляя пепел. А тебя оно словно вовсе не замечает.

— Я родилась в ту осень, когда в небе вспыхнула та проклятая звезда, — прошептала Мадлен, сама пугаясь собственных слов, сорвавшихся с языка. — Я росла со своими братьями и сёстрами. Я ела тот же хлеб, плакала от тех же болезней. Клод и Катрин — мои родители. Я такая же... по крайней мере, я думала, что такая же.

Она замолчала, чувствуя, как к горлу подступает горячий, удушающий ком.

— Но я не знаю, почему не старею, Пьер. Клянусь тебе, я не знаю. Я боюсь этого не меньше, чем ты.

Пьер отдёргнул руку, словно обжёгшись. Он откинулся на спинку стула, тяжело дыша, и долго смотрел в угол комнаты, куда не дотягивался свет свечи. В его глазах читалась не ненависть — ужас. Страх перед тем, кого он любил больше жизни, но кого теперь не мог постичь человеческим умом.

В ту ночь они больше не сказали друг другу ни слова.

И с этого момента хрупкое, уютное счастье их брака надломилось навсегда. Пьер больше не заговаривал об этом, но каждый его взгляд, каждый скрытый жест, каждый раз, когда он замечал её отражение в оконном стекле, превращался в молчаливый допрос.

Мадлен впервые поняла главную истину: отныне любой человек, которого она полюбит, станет для неё зеркалом её чудовищности. И чем сильнее она привяжется к кому-то, тем больнее будет неизбежный финал.

Годы потекли дальше, но это было уже другое течение — тягучее, липкое от страха и глухого одиночества.

То, что началось с первых тревожных признаков в 1650 году, с годами превратилось в неотвратимую старость. Пьер старел тяжело и неумолимо. К 1658 году он был уже глубоко пожилым, согбенным человеком по меркам 17 века — ему исполнилось семьдесят один год. Его каштановые волосы давно превратились в редкую седину, шаги стали шаткими, а руки дрожали от каждой смены погоды.

А Мадлен... Мадлен оставалась всё той же.

За годы совместной жизни в тесном, суеверном Нанси скрывать это стало просто невозможно. Соседи по улице Сен-Эпвр уже не просто шептались у колодца — они смотрели на неё с суеверным ужасом.

— Послушай, а ведь жена Пьера совсем не стареет, — шептались бабы, прикрывая рты платками. — Я замуж выходила — она такой была. Дочь моя уже бабушка, внуки по улице бегают, а Мадлен... Да она выглядит ровно так же, как в день своей свадьбы! Пьер уже в землю смотрит, а она — девка девкой. Нечисто тут. Вспомни-ка, в какой год она родилась-то? В тот самый, когда на небе поганая новая звезда горела!

Слухи росли, как снежный ком, превращаясь в смертельно опасные обвинения. В 17 веке за такую «неподвижность во времени» дорога была только на костер или под застенки инквизиции.

Пьер слышал эти шепотки на рынке. Он видел, как менялись взгляды людей, как крестились соседи, когда Мадлен проходила мимо. Но страшнее всего было то, что он каждый день смотрел в зеркало на своё дряхлеющее лицо и понимал: защитить её он больше не в силах. У него не осталось ни сил, ни связей, ни времени. Его собственный век катился к концу, а она даже не собиралась увядать.

Однажды ночью, поздней осенью 1655 года, в комнате стояла звенящая тишина. Пьер сидел за столом, тупо глядя

на огарок свечи. Мадлен подошла к нему, пытаясь коснуться его плеча, но он глухо и тяжело отстранил её руку.

— Ты должна уйти, Мадлен, — произнес он страшным, сухим голосом, не поднимая на неё глаз.

У Мадлен внутри всё оборвалось. Она отступила на шаг, чувствуя, как по лицу разливается жгучая обида.

— Ты тоже... тоже считаешь меня ведьмой? — её голос дрогнул, срываясь на шёпот. — Ты боишься меня, Пьер?

Только тогда он поднял на неё взгляд. Его глаза были красными от бессонницы и слёз. Пьер резко встал, подошел к ней и крепко, почти больно сжал её плечи своими уже слабыми, дрожащими руками.

— Нет, глупая моя... Именно поэтому ты должна уйти, — выдохнул он, и по его щеке покатилась одинокая морщинистая слеза. — Я знаю, что ты не ведьма. Но они — не будут разбираться. Завтра же они придут к нашему порогу с доносом. Я отдал тебе всё, что у меня было, Мадлен. И я не позволю им сжечь тебя.

В этот момент Мадлен поняла всю бездну своего проклятия.

Но в груди поднимался другой, не менее страшный ужас. Оставить его? Бросить Пьера здесь одного, больного, немощного, окруженного озлобленной толпой, которая только и ждет повода разорвать их обоих? Убежать, спасая свою жизнь, и оставить того, кого она любила больше всего на свете, умирать в одиночестве и позоре?

Перед ней встал выбор, от которого леденела кровь:

Остаться — и рискнуть быть схваченной, погубив их обоих в страшных муках.

Уйти — и предать человека, который отдал ей всю свою жизнь, оставив его доживать свой век в абсолютном отчаянии.

Впервые в жизни показалось ей не просто странностью или тайной, а чудовищной, невыносимой ношей, за которую приходилось платить самую жестокую цену.

— Я прожила с тобой двадцать один год, Пьер, — её голос сорвался, превратившись в горький, надломленный шепот. — Ты хочешь, чтобы я собрала пожитки и ушла в ночь, словно между нами никогда ничего не было? Чтобы я бросила тебя здесь одного, когда твои руки едва держат кружку?

Она шагнула к нему, пытаясь заглянуть в глаза, но Пьер лишь тяжело отвёл взгляд, ссутулившись еще сильнее.

— Я хочу, чтобы ты жила, Мадлен, — глухо ответил он. — Мой век уже на исходе. Через год или пять меня не станет. Но у тебя... у тебя впереди еще жизнь. И я не позволю оборвать её на городской площади из-за безумия толпы.

Он медленно поднялся из-за стола, подошел к тяжелому дубовому сундуку в углу комнаты и откинул крышку. Мадлен замерла.

Там лежали плотный дорожный плащ с глубоким капюшоном, небольшой кожаный кошелек с монетами, туго набитый мешочек с сухарями и аккуратно сложенные бумаги.

Пьер вытащил из стопки свернутый лист и протянул ей.

— Это дорожная грамота и свидетельство на имя Мари Лорен, сироты из прихода в Туле, направляющейся к родственникам на юг, — его голос дрожал, но в словах звучала стальная, выстрадавшая за последние месяцы решимость. — Я продал часть залежавшегося сукна и договорился с возчиком из гильдии. Завтра до рассвета со двора уходит обоз. Человек, который им управляет, знает, что ты моя племянница. Он довезет тебя до Дижона, а дальше... дальше ты сама.

Мадлен смотрела на бумаги, и холодный, парализующий ужас сковал ей горло.

Пока она гадала, почему муж стал таким молчаливым, отстраненным и чужим, пока её снестачивало подозрение, что он испугался её странной вечной молодости — он не отворачивался от нее. Он спасал её. Тихо, методично, готовя для неё путь к отступлению, зная, что сам из этой ловушки уже не выберется.

— Пьер... нет, я не могу... — Мадлен покачала головой, чувствуя, как по щекам катятся первые, обжигающие слёзы. — Как я оставлю тебя?

— Ты оставишь меня с памятью о том, что моя жена жива, — он мягко, но непреклонно взял её за плечи и заставил посмотреть на себя. В его уставших, пожилых глазах стояли слезы. — Если ты останешься, мы погибнем оба. А если уйдешь — сохранишься. Обещай мне, Мадлен. Обещай, что не оглянешься и не вернешься, пока не окажешься в безопас-

ности.

Дорога из Нанси под утро встретила её ледяным осенним ветром и колючим дождем со снегом.

Обоз скрипел колесами по раскисшей грязи, уходя всё дальше от старых крепостных стен, за которыми осталась вся её прошлая жизнь. Мадлен шла рядом с телегой, закутавшись в тяжелый плащ, и раз за разом оборачивалась назад. В серой утренней дымке медленно таяли шпили церквей, знакомые крыши и тот самый дом у реки, где пахло речной сыростью и кожей.

Казалось, сердце разрывается на части от каждого шага, уносящего её прочь. Впервые за свои пятьдесят один год она осталась в этом огромном мире абсолютно одна — без родителей, без братьев, без мужа, с чужим именем на клочке бумаги и пугающей, бесконечной молодостью впереди.

Прошел почти год, прежде чем до неё, затерявшейся в тихом провинциальном Дижоне под именем Мари Лорен, дошла страшная весть.

Пьер умер. Тихо, в своей постели, ровно так, как и должен был уйти смертный человек, оставив после себя лишь пустой дом да добрую память среди суконщиков.

В ту ночь Мадлен впервые нарушила данное ему обещание не оглядываться.

Она вернулась в Нанси тайком, под покровом осенней темноты, пряча лицо под капюшоном. Город казался прежним, но для неё он уже превратился в гигантское кладбище.

Она нашла старое кладбище у окраины и долго стояла под холодным дождем у безымянного холмика, зная, что под ним лежит человек, который подарил ей двадцать один год самого настоящего человеческого счастья и спас ценой собственной старости.

Тогда она поняла главное.

Нанси стал для неё не просто местом рождения. Это был её единственный якорь в бушующем океане времени — точка на карте, где под землей спали все те, кого она любила: мать, отец, братья и Пьер.

Именно поэтому, проскитавшись по миру следующие столетия, меняя имена, паспорта и эпохи, она неизменно возвращалась сюда снова и снова. Спустя четыреста лет она всё так же ходила по этим же мостовым, работая историком и гидом, потому что прошлое было её единственным подлинным домом.

Здесь же, в сырой осенней темноте 21 века, её настигнет и этот новый человек — Поль, с его бесконечными архивными вопросами и пронзительно живым взглядом. Круг замкнется вновь, напоминая о том, что от своего прошлого бессмертной сбежать еще никому не удавалось.

Прошло чуть больше полувека. Она вернулась сюда, уже под новым именем, с другими документами и с неизменной привычкой прятать глаза под широкими полями дорожной шляпы.

Она шла по знакомым с детства кварталам в поисках улоч-

ки Сен-Эпвр и дома с лавкой суконщика. Но город изменился. Пожары, перепланировка и новое строительство перекроили старый Нанси.

Там, где когда-то стоял низкий деревянный дом Клода Жако, теперь возвышался массивный каменный фасад чужой резиденции.

Не было ни дома. Ни лавки. Ни следов старого двора, где она когда-то сидела на бочке. Даже церковь рядом выглядела иначе, обросшая новыми приделами.

Мадлен долго стояла напротив чужого каменного фасада.

Она пыталась вспомнить, где именно находилось окно их комнаты. Где стоял стол отца. Где мать месила тесто. Где Никола кричал ей, чтобы она не лезла на крышу.

Но память больше не совпадала с реальностью.

Она была единственным человеком в этом городе, для которого этот дом всё ещё существовал.

Мадлен медленно развернулась и пошла прочь.

Теперь она знала: время не просто забирает людей. Оно уничтожает доказательства того, что они вообще когда-то жили.

Нанси. Наши дни

Тишину современной квартиры нарушал лишь едва слышимый гул холодильника и ровный свет экрана планшета.

Мадлен сидела за кухонным столом, глядя на оцифрован-

ный скан приходской книги 1604 года. Имя её отца — *КЛОД ЖАКО* — по-прежнему светилося на дисплее, словно прозрачный мост, перекинутый через четыре столетия.

Телефон рядом снова коротко завибрировал. Новое сообщение от Поля:

«Я еще раз посмотрел нижнюю часть страницы. Кажется, там есть отдельная приписка, связанная с семьёй Жакко и рождением ребенка поздней осенью 1604 года. Завтра покажу вам оригинал скана целиком — там любопытная вязка букв. Вы ведь сможете мне разобраться с этим сокращением?»

Мадлен медленно откинулась на спинку стула, закрыла глаза и глубоко вдохнула воздух современной квартиры, пахнувший остывшим чаем и воском.

Круг замкнулся.

Прошрое, которое она так тщательно хоронила под чужими именами и веками скитаний, настигло её здесь, на пороге собственного дома.

И впервые за долгие годы Мадлен поймала себя на мысли, что бежать больше не хочется.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.